

*Д.В. Иванов*

### ПО СЛЕДАМ «ТИГРА»: АНАЛИЗ ТРАЕКТОРИЙ СОЦИАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЮЖНОЙ КОРЕЕ\*

*В статье прослеживаются тенденции трансформации экономики, политики, культуры, социальной структуры в Республике Корея за последние полстолетия. Показано, что на базе теории модернизации невозможно адекватно интерпретировать новейшие тенденции в южно-корейском обществе, характеризующиеся как виртуализация и рост глэм-капитализма.*

**Ключевые слова:** социальные изменения, модернизация, Южная Корея, виртуализация, глэм-капитализм.

**Key words:** social change, modernization, South Korea, virtualization, glam-capitalism.

В контексте оживившихся в последние годы дебатов о необходимости и путях модернизации экономики и инновационном развитии российского общества особое внимание в экспертных сообществах стало уделяться так называемому азиатскому экономическому чуду. Высокие темпы экономического роста, быстрое и масштабное обновление технологий и инфраструктуры, отличающие на рубеже XX–XXI вв. азиатских «тигров» и «драконов» — Сингапур, Тайвань, Гонконг, Китай и Южную Корею, привлекают внимание многих экспертов, стремящихся раскрыть секрет успешного социально-экономического развития и найти образцы для подражания (Александров 2007; Абдурасулова 2009; Саблин 2010).

---

\* Исследование проведено по гранту Академии Корееведения (Республика Корея) в 2012 году (AKS-2010-САА-2101).

Особенно впечатляющим, даже на фоне остальных «тигров» и «драконов», выглядит «корейское чудо». Будучи полвека назад бедной аграрной страной с показателем ВВП на душу населения в 70 долларов (1960), не имея больших запасов минерального сырья и не занимая выгодного положения на торговых путях, Южная Корея достигла уровня подушевого ВВП в 1600 долларов уже в 1980 г. и затем стремительно продвинулась в число двадцати самых развитых стран, достигнув уровня 10000 долларов в 1995 и уровня 20000 долларов в 2005 гг. При этом экономика Южной Кореи диверсифицирована, в ее экспорте велика доля высокотехнологичной продукции, а по объему экспорта продукции на базе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) она входит в пятерку мировых лидеров (Цветкова 2012). Страна успешно реализует масштабные проекты по развитию информационно-коммуникационных технологий и находится среди мировых лидеров по количеству интернет-пользователей (82 на 100 жителей), по уровню доступа к широкополосному Интернету и по интенсивности развития технологий мобильной связи (Lee 2003).

Такой феноменальный экономический прогресс и переход Южной Кореи из состояния экономически отсталого аграрного и к тому же разрушенного войной общества через интенсивную и во многом принудительную индустриализацию к развитому постиндустриальному обществу выглядит идеальным примером, подтверждающим положения классической теории модернизации (Rostow 1960; Levy 1966). В 1960-х гг. опиравшееся на военных правительство президента Пак Чон Хи провозгласило программу «модернизации родины» (Хан Ёнью 2010) и практически навязало обществу новые институты западного типа, которые активизировали экономическую деятельность и вытесняли традиционные социальные структуры и культурные паттерны.

Однако авторитарная модернизация сопровождалась ростом социального неравенства, распадом традиционных социальных групп, давлением государственной бюрократии на предпринимателей, рабочих, интеллектуалов. Реакцией на болезненные следствия догоняющей модернизации стало возникновение в южнокорейском обществе неотрадиционалистских структур и движений, сформировавших альтернативу тем институтам, которые поддерживались авторитарным государством. На месте распавшихся клановых связей возникли формы солидарности, превращавшие промышленные корпорации, государственные учреждения и университеты в подобие общин, руководство и большинство членов которых объединены происхождением из одного клана, региона, учебного заведения, воинской части и т. п. Эти противоречащие идеальному типу модернизации структуры рекрутинга и карьерного продвижения стали характерной чертой современного корейского общества

и были названы исследователями «неофамилистскими» (Lew, Chang 1998; На 2007) или «псевдофамилистскими» (Cha 2000). Другой характерной тенденцией стало возникновение социокультурного и политического движения, объединившего интеллектуалов, студенческих, профсоюзных и религиозных активистов, выступавших против «идуущего извне» разрушения корейской культуры и угнетения простого народа и обращавшихся в поисках альтернативы прозападным нововведениям к традиционным видам искусства, религиозным верованиям и ритуалам. Это широкое движение, известное как «минджун» («народ») и варьировавшееся от этнографических изысканий и фольклорных представлений до забастовок и акций гражданского неповиновения, стало в 1970–80-е гг. серьезным вызовом модернизационной элите (South Korea's Minjung 1995; Koo 1999).

Уже традиционно ключевым этапом в модернизации южнокорейского общества считается демонтаж режима военной диктатуры в конце 1980-х — начале 1990-х гг. и последовавшие демократизация политической жизни и либерализация экономики (Kim 1998; Koo 1999; Хан Ёнью 2010). Однако этот сдвиг от авторитаризма к либерализму был инициирован и стал результатом успешной борьбы тех общественных движений, которые в рамках классических теорий модернизации следовало бы определить как контрмодернизационные и неотрадиционалистские. Это противоречие может быть устранено обращением к концепции множественных современностей (multiple Modernities) Ш. Айзенштадта (Eisenstadt 1987; 2000). Концепция множественных современностей позволяет уйти от парадоксов, связанных с бинарной схемой «традиционализм — модернизация», и рассматривать неофамилизм и движение минджун не как проявления социального консерватизма и культурного фундаментализма, но как специфические паттерны той траектории модернизации, которая характерна для Южной Кореи.

Как жесткие модели классических теорий модернизации, так и более гибкие модели теорий множественных модернизаций оказываются малоэффективны при описании и объяснении тенденций конца 1990-х — начала 2000-х гг. В этот период экономические структуры, обеспечившие «корейское чудо», впали в состояние кризиса, а идущие через национальные границы интенсивные потоки инвестиций, технологий, людей, информации, товаров существенно изменили южнокорейское общество. Плюрализм паттернов консьюмеризма и нарастающий космополитизм новых поколений, принимающих экономическое благополучие и гражданские свободы как само собой разумеющуюся данность, не поддерживают функционирование тех социальных институтов и воспроизводство тех культурных практик, которые сложились на этапах индустриализации и демократизации. Открытые, подвижные и сетевые

структуры в экономике и обществе лучше описывать и объяснять с использованием новых концептуальных средств, предоставляемых теориями глобализации и виртуализации (Robertson 1992; Appadurai 1990; Castells 1996; Иванов 2000).

Ограниченность модернизационной модели трансформации общества связана с тем, что она предполагает однозначно направленную и непрерывную траекторию социальных изменений. В Южной Корее же в течение последнего столетия практически каждое десятилетие происходили резкие повороты и возникали принципиально новые тенденции во всех сферах общественной жизни. Поэтому концептуализация и теоретические объяснения социальных изменений в Южной Корее должны базироваться на эмпирически очевидной и теоретически адекватной реконструкции последовательно сменяющихся траекторий изменений в экономике, политике, культуре и социальной структуре.

### **Пять «экономических чудес»**

В развитии южнокорейской экономики можно идентифицировать пять последовательных фаз, каждая из которых характеризуется специфическим технологическим и институциональным режимом.

(1) Главной тенденцией в 1960-х гг. стал рост ориентированных на экспорт отраслей легкой промышленности (текстиль, обувь и т. п.), активно стимулируемых и регулируемых меркантилистской политикой государства. Именно в этот период в Южной Корее началось так называемое экономическое чудо. Средние темпы роста ВВП составили в 1963–1966 гг. 7,8 %, а в 1967–1971 — 10,5 %; прирост экспорта в 1967–1971 гг. составил 33,7 %; ВВП на душу населения вырос с 87 долларов в 1962 г. до 293 в 1972 г.; безработица снизилась с 8,3 % в 1963 г. до 4,5 % в 1971 г. (Хан Ёнью 2010: 546; Chang 2008: 654). Феноменальные показатели экономического роста обуславливались высокой конкурентоспособностью корейских товаров, продвигаемых на внешних рынках, в первую очередь японском. Конкурентоспособность корейского экспорта опиралась на целенаправленно поддерживаемый низкий уровень издержек производства. Использование дешевой рабочей силы на создаваемых промышленных предприятиях обеспечивалось установленными государством низкими ценами на главный продукт питания — рис. Политика низких цен на продукцию сельского хозяйства позволяла удерживать низкий уровень оплаты труда на фабриках и одновременно вынуждала массы разорявшихся крестьян уходить из села в город и пополнять ряды неквалифицированной рабочей силы. Одновременному ограничению роста потребления внутри страны и повышению конкурентоспособности промышленности на внешних рынках способствовали также осуществленные правительством девальвация национальной

валюты — воны, введение высоких пошлин и прямых запретов на импорт многих товаров и при этом либерализация импорта полуфабрикатов для развиваемых производств (Коргун 2007: 170). Вершиной системы мер по развитию экспортных производств стало сочетание прямой поддержки и контроля фабрик высшими государственными чиновниками. Правительство перенаправило внешнеэкономическую помощь и кредиты с социальных программ на закупку необходимых для развиваемой легкой промышленности сырья и оборудования. Был создан Комитет экономического планирования, составлявший и доводивший до предприятий пятилетние планы экономического развития. Бизнес-планы владельцев предприятий напрямую диктовались на ежемесячных совещаниях по экспорту, проходивших под председательством президента — диктатора Пак Чон Хи.

(2) В 1970-х гг. режим экономического роста изменился: произошел поворот к развитию тяжелой промышленности (черная металлургия, кораблестроение, нефтехимия, автомобилестроение и т. д.) силами так называемых *чеболов* — вертикально и горизонтально интегрированных и диверсифицированных промышленных групп, находящихся в собственности семейных кланов, управляемых на основе родственных и земляческих связей и зависимых от отношений с правящей элитой. На долю полусотни чеболов приходилось около половины производимого ВВП. При этом 7 из 10 крупнейших чеболов принадлежали выходцам из провинции Ённам, откуда родом были многие высшие чиновники государства, в том числе и президент Пак Чон Хи (Shin, Chin 1989: 10; Cha 2000: 479). Связи в духе неофамализма с государственной бюрократией открывали чеболам доступ к льготным кредитам и к прямому субсидированию экспорта, делали чеболы для государства эффективным инструментом проведения экономической и социальной политики и способствовали институционализированной коррупции, когда режим благоприятствования чеболам предоставлялся в обмен на лояльность и пожертвования в партийные фонды и на социальные проекты правительства. В 1970-х гг. темпы роста ВВП оставались очень высокими и составляли в среднем 10 % в год (Shin, Chin 1989: 7). Именно в этот период структура южнокорейской экономики приобрела вид, характерный для развитого индустриального общества: доля промышленного производства в национальном продукте превысила долю сельскохозяйственного производства (Коо 1991: 487).

(3) В 1980-х гг. произошел новый поворот траектории экономического развития, обусловленный быстрым ростом экспортно-ориентированных производств в области высоких технологий (микроэлектроника, бытовая электроника) и формированием системы трудовых отношений на базе альянса национального капитала, государства и офи-

циальных профсоюзов. Лояльность к курсу догоняющей модернизации, требующей удержания низкой стоимости трудовых ресурсов, достигалась гарантиями пожизненного найма для готового к полной самоотдаче большинства работников и репрессиями против рабочих активистов. Институционализация авторитарно-корпоративной системы трудовых отношений привела к тому, что сформировавшийся в среде чеболов и правительственных учреждений неофашизм в рекрутировании и карьерном продвижении укоренился во всех отраслях экономики (На 2007). Эффективность авторитарно-корпоративной системы трудовых отношений в сдерживании требований повышения зарплат и улучшения условий труда подтверждается статистическими данными о трудовых спорах: в 1986 г. было зафиксировано 276 таких споров, а в 1987 г., когда был свергнут режим военной диктатуры Чон Ду Хвана и восстановлены элементарные гражданские свободы, трудовых споров было уже 3749 (Коо 2001: 159). Развитие новых, высокотехнологичных отраслей происходило внутри структур крупнейших промышленных конгломератов, что привело к еще большему усилению их позиций в экономике. Сверхконцентрация и монополизм в южнокорейской экономике достигли беспрецедентных масштабов. Доля 10 крупнейших компаний в ВВП за десятилетие выросла с 33 % (1979) до 54 % (1989) (Хан Ёнью 2010: 555). Южнокорейская система монополизма и протекционизма конкуренцию на внутреннем рынке допускала только под внешним давлением. Так, торговые споры с США из-за демпинговых цен на корейскую бытовую электронику и таможенных барьеров для американских продуктов привели к ослаблению барьеров для импорта сельскохозяйственной продукции, и показатель самообеспечения зерном снизился с 86 % в 1970 г. до 48,4 % в 1985 г. (Хан Ёнью 2010: 555).

(4) В 1990-х гг. траектория поздней индустриализации в Южной Корее резко сменилась траекторией роста «новой экономики», движимой высокотехнологичным производством полупроводников, телекоммуникационного оборудования и т. п., а также либерализацией финансовых рынков, рынка труда и глобализацией корейских компаний. Решающим событием этого периода стал кризис 1997 г., который привел к первому после начала индустриализации падению производства, оцениваемому в 5–7 % (Shin, Chang 2005: 411; Kim, Park 2006: 437), к банкротству многих крупных корпораций, включая компанию Daewoo, к росту уровня безработицы с 2–2,5 % (1994–1997) до 7 % (1998) (Kim, Park 2006: 440). Кризис вынудил от выдвинутых президентом Ким Ён Самом проектов постепенной глобализации прежде «закрытой» корейской экономики (Lee W.-D., Lee B.-H. 2003) перейти к неолиберальной политике, которую на условиях предоставления кредитов Международным валютным фондом проводил новый президент Ким Дэ Чжун,

осуществивший реструктуризацию экономики. Уменьшилось государственное регулирование, была осуществлена либерализация внешней торговли и финансового рынка, проведена приватизация госкорпораций, были реформированы чеболы, чья инвестиционная экспансия повлекла гигантскую задолженность по кредитам и спровоцировала финансовый крах в 1997 г. Из 30 крупнейших чеболов исчезли 11, остальные утратили прежнюю «осьминожью» структуру, которая позволяла головной компании полностью контролировать функционирование сети дочерних и аффилированных предприятий (Хан Ёнью 2010: 574; Lee W.-D., Lee B.-H. 2003; Shin, Chang 2005; Lie, Park 2006: 57). Созданию более конкурентных и ориентированных на интересы потребителей рынков способствовал и демонтаж системы протекционизма: если в 1980 г. 30 % товарных категорий имели ограничения на импорт и таможенные тарифы находились на уровне 25 %, то в 2000 г. эти показатели составили, соответственно, 0,1 % и 8 % (Lee W.-D., Lee B.-H. 2003: 510).

Демонтаж структур, лежавших в основе «экономического чуда», последовал за замедлением среднегодовых темпов роста ВВП с 8–10 % в 1970–1980-х гг. до 5,5 % в 1990-х (Хай Ёнью 2010: 546). Несмотря на успешную экспансию на внешних рынках, корейские производители высокотехнологичной продукции занимали подчиненное положение в глобальных сетевых структурах — цепях поставок, максимальную выгоду в которых получают обладатели прав на патенты и бренды. Например, в 1989 г. корейские фирмы выплатили 1,2 млрд. долларов правообладателям за использование запатентованных технологий (Smith 1997: 750). В 1990-х гг. государством и частным бизнесом были осуществлены масштабные инвестиции в НИОКР, чтобы перейти от так называемого обратного инжиниринга, когда разбирались и детально копировались изделия мировых технологических лидеров, к созданию собственных инновационных технологий. С этой же целью были созданы сети, объединившие исследовательские центры в Корею и за рубежом под эгидой таких компаний, как Samsung (Smith 1997). Формирование структур «новой экономики» привело к реструктуризации рынка труда. Рост зарплат, улучшение условий труда на новых производствах по стандартам транснациональных компаний сопровождалось уменьшением конфликтности трудовых отношений и снижением членства в профсоюзах (Коо 1991; 2001: 159). Одновременно рабочие места в традиционном индустриальном секторе, утратившем привлекательность для южнокорейских работников, стали заполняться гастарбайтерами, число которых выросло с 50000 (1991) до 250000 (1997) (Lee W.-D., Lee B.-H. 2003: 511).

(5) В 2000-х гг. в Южной Корее сформировалось постиндустриальное общество, в котором режим экономического роста кардинально отличается от режима догоняющей модернизации. С достижением в сере-

дине десятилетия уровня ВВП свыше 20000 долларов на душу населения (Lie, Park 2006), переходом с шестидневной на пятидневную рабочую неделю в 2004 г. и ростом потребительских кредитов (Shin, Chang 2005: 418) южнокорейская экономика утратила ключевой фактор развития по модернизационному типу — низкие издержки на человеческий капитал в трудоемких производствах. А возросшая конкуренция со стороны Китая создала угрозу потери лидирующих позиций в экспорте традиционной промышленной продукции (Cha 2005; Lie, Park 2006). Конкурентные преимущества южнокорейской экономики теперь связаны с экспортом культуры, ярким примером чего стал феномен *Ханью* («корейской волны») — распространения в азиатских странах коммерческой продукции корейской поп-культуры: кинофильмов, «мыльных опер», музыкального видео, анимации, компьютерных игр и т. д. (Lie, Park 2006: 61). Внутреннее потребление символической или виртуальной продукции также способствует экономическому росту, условием для которого становится реализация масштабных проектов опережающего развития цифровой инфраструктуры коммуникаций и коммерции (Lee, Park 2010: 30). Реконфигурация экономических структур продолжается под воздействием пересекающих границы национальной экономики материальных и символических потоков. Культурный экспорт дополняется исходящими потоками технологий, организационных решений, брендов, например, при создании сборочных производств в Азии или Восточной Европе. При этом происходит и отток культурного капитала: число эмигрирующих высококвалифицированных работников, например, компьютерщиков, финансистов, ученых, удвоилось в 2000-х гг. по сравнению с серединой 1990-х (Kim, Park 2006: 453). Входящие потоки образуются импортом потребительских товаров престижных японских, европейских и американских брендов, а также притоком дешевой рабочей силы, в основном, для производства аналогичных потребительских товаров на предприятиях легкой промышленности и для работы на вредных и опасных производствах в тяжелой промышленности. К 2005 г. в Южной Корее трудилось около 350000 рабочих из Китая, Вьетнама, Филиппин, Бангладеш (Kim, Park 2006: 445).

### Пять политических метаморфоз

Фазы и смены траекторий, аналогичные изменениям в технологическом и институциональном режиме экономического роста, обнаруживаются и в политической жизни Южной Кореи.

(1) Основная тенденция в южнокорейской политике 1960-х гг. — консолидация и легитимация авторитарного государства, обеспечившего возможность навязать эффективные экономические реформы слабым и пассивным социальным группам и местным общинам. После

спровоцированного фальсификацией результатов выборов студенческого восстания 19 апреля 1960 г. и вынужденной отставки первого президента Республики Корея Ли Сын Мана ненадолго установилась так называемая Вторая республика, но политическая и экономическая нестабильность стали благоприятной основой для военного переворота, который в 1961 г. осуществил генерал Пак Чон Хи. Был свергнут президент Юн Бо Сон, распущены парламент и все политические партии, установлена военная диктатура. Но через год Пак Чон Хи ввел и утвердил на национальном референдуме новую конституцию и перешел к формально гражданскому, а на практике опирающемуся на силовые структуры режиму управляемой демократии — Третьей республике (Kim, Koh 1972; Коо 1999: 57). Были созданы правящая Демократическо-республиканская партия и оппозиционная Новая демократическая партия, которые выдвигали своих кандидатов на регулярно проводимых, но неизменно завершавшихся в пользу правящего режима парламентских и президентских выборах. Характерными чертами Третьей республики стали манипуляции на выборах; неофамилистская лояльность бюрократии, рекрутируемой преимущественно из региона Ённам, откуда родом был Пак Чон Хи; режим напряжения для чиновников и бизнесменов, вовлеченных в выполнение планов экономического развития; коррупционные механизмы реализации проектов индустриализации (Kim, Koh 1972; На 2007).

(2) В 1970-х гг. произошел резкий поворот к установлению диктаторского режима *Юсин* («обновление», «оживление»), покончившего с управляемой демократией начального периода правления Пак Чон Хи и сформировавшего экспансивное государство, вторгавшееся с модернизационными проектами во все сегменты общества, и создававшего зависимые структуры клиентизма вместо отсутствовавшего гражданского общества. Поправки, внесенные в конституцию в 1969 г., позволили президенту Пак Чон Хи избраться в 1971 г. на третий срок, после чего он фактически совершил переворот, распустив парламент и все партии, введя конституцию 1972 г. и сформировав автократический режим так называемой Четвертой республики. По новой конституции выборы президента осуществлялись членами парламента, треть депутатов парламента и судьи всех уровней от муниципального до национального назначались президентом. Правящий режим терпел лишь лояльную квазиоппозицию, жестоко репрессировав серьезных противников, как это было, например, в случае похищения и ареста в 1973 г. Ким Дэ Чжуна, бывшего оппозиционным кандидатом на президентских выборах 1971 г. (Shorrok 1986). Политические партии функционировали лишь как предвыборные коалиции и неофамилистские сети поддержки своих лидеров, не становясь постоянными структурами с определенной идеологией.

По оценкам экспертов, в период *Юсин* в Южной Корее насчитывалось до 160 таких квазипартий (Steinberg, Shin 2006: 518). В публичной сфере была осуществлена концентрация и централизация, подобная сверхконцентрации корейских бизнес-структур. В стране общенациональное распространение имели лишь три газеты, фактически подконтрольные правительству, создано официальное профсоюзное объединение, организованы зависимые от государственной бюрократии квазиволонтерские организации социальной помощи — «корпорации общественного интереса» и «движение за новую общину», проводившее политику модернизации муниципалитетов и деревень (Kim 2008).

Сталкиваясь со спорадическими протестами рабочих, студентов и религиозных активистов, авторитарный режим Пак Чон Хи усиливал репрессии, вводя специальные декреты — чрезвычайные законы в обход парламента, которыми запрещались любая критика конституции *Юсин*, антиправительственные петиции и студенческие организации. Судя по нисходящей динамике числа протестных акций (Chang 2008: 655), период декретов (1974—79) стал временем наибольшей эффективности государства в предотвращении открытого недовольства. Однако именно в этот период движение *минджун* консолидировалось и превратилось из популистской идеологии интеллектуалов, представлявших простой народ жертвой государственной и корпоративной эксплуатации и носителем подлинной корейской культуры, в практическую деятельность по организации актов гражданского сопротивления подпольных студенческих и профсоюзных групп, религиозных и местных общин (*South Korea's Minjung...* 1995; Коо 1999: 58—60; Chang 2008).

(3) На протяжении 1980-х гг. произошел поворот от ужесточения авторитарного режима к кризису диктатуры, утратившей легитимность и не совладавшей с усилением оппозиционных движений. Конец режима *Юсин* наступил 26 октября 1979 г., когда в момент бурных протестов и столкновений рабочих и оппозиционных активистов с полицией президент Пак Чон Хи был убит шефом разведывательного управления. В ситуации раскола правящей элиты генерал Чон Ду Хван в декабре 1979 г. совершил государственный переворот и использовал войска для подавления сопротивления, пиком которого стало восстание в мае 1980 г. в городе Кванджу, где по разным оценкам было убито от 200 до 3000 жителей (Shorrok 1986: 1203; Choi 1991: 176). За событиями в Кванджу последовало ужесточение диктатуры: были арестованы и уволены тысячи инакомыслящих журналистов, преподавателей, профсоюзных активистов, введен запрет профсоюзной деятельности, установлен контроль над прессой, из членов городских банд сформированы спецподразделения полиции для борьбы с демонстрантами, вновь подвергнуты аресту лидеры оппозиционных партий, а Ким Дэ Чжуну даже

вынесен смертный приговор, позже отмененный под давлением США. Введя новую конституцию, став президентом и сформировав новый парламент, где созданная им Демократическая партия справедливости заняла место правящей, лидер военной хунты Чон Ду Хван создал режим, получивший название Пятой республики.

Установление новой диктатуры повлекло за собой радикализацию студенческого движения, перешедшего к антиправительственной пропаганде среди рабочих, к организации бунтов в университетах и захватов офисов корпораций и иностранных представительств (Choi 1991). Несмотря на репрессии против активистов националистического движения *минджун* и лидеров продемократической оппозиции, антидиктаторские силы консолидировались, создав в 1984 г. «Объединенное народное движение за демократию и объединение страны» — коалицию 23 организаций, представлявших запрещенные профсоюзы, интеллектуалов, крестьянские группы, диссидентов из католических и протестантских общин (Shorrok 1986). Наиболее видные оппозиционные политики Ким Дэ Чжун и Ким Ён Сам возглавили Новую демократическую партию и добились поддержки 40 % избирателей на парламентских выборах 1985 г. Ставшее в 1980-х гг. более националистическим и менее интеллектуалистским движение за демократию получило поддержку средних слоев, которые за годы правления Пак Чон Хи и Чон Ду Хвана приобрели материальную независимость и относительно высокий уровень образования и начали уставать от режима, требовавшего самоограничения, дисциплины и лояльности во имя процветания государства.

Подъем протестного движения студентов в июне 1987 г. был поддержан массовыми уличными шествиями и последовавшими забастовками, и под двойным давлением народного движения и правительства США Чон Ду Хван согласился на конституционную реформу (Kim 1998; Коо 1999; Shin 2000). Были восстановлены прямые выборы президента, срок его пребывания на посту сокращен с 7 до 5 лет, была гарантирована многопартийность. Так возникла Шестая республика, президентом которой в 1987 г. был избран Ро Дэ У\* (бывший генерал и соратник Чон Ду Хвана). Новый президент начал либерализацию политической жизни, но для стабилизации государственных институтов в переходный период санкционировал создание новой партии власти — Демократической либеральной партии, объединившей проправительственную Демократическую партию справедливости и оппозиционные Новую демократическую партию и Демократическую партию объединения страны, только

---

\* Поскольку написание корейских имен в русском языке не приведено к единому стандарту, в литературе можно встретить разные варианты этого имени, включая Ро Тае Ву или Но Тхэу.

что основанную Ким Ён Самом (Steinberg, Shin 2006). Возникшая в результате этого объединения «мегапартия» контролировала две трети мест в парламенте и была способна поддерживать умеренный темп расширения гражданских свобод.

(4) После демократического прорыва конца 1980-х гг. произошла смена траектории политических изменений. Демократизация в течение 1990-х гг. стала результатом компромисса между старой элитой и контрэлитой и потому была постепенной и умеренной и сопровождалась сохранением унаследованной от авторитарных режимов прежних лет политической культуры, отличительными чертами которой являются временные партии — неофамилистские коалиции в поддержку харизматичных лидеров, коррупционные связи политиков с бизнес-группами, доминирование консервативных масс-медиа. Всплеск гражданской активности сменился снижением политического участия. Если в президентских выборах 1987 г. участвовали 89 % избирателей и в парламентских выборах в 1988 г. — 76 %, то в 1990-х гг. произошел очевидный спад активности: явка на президентских выборах составила 82 % (1992) и 81 % (1997), на парламентских выборах — 72 % (1992) и 65 % (1996) (Kim 2005: 199). Последовательно становившиеся президентами бывшие диссиденты Ким Ён Сам (1993–1998) и Ким Дэ Чжун (1998–2003) после ликвидации военной диктатуры стремились скорее к сохранению традиционных политических институтов: продолжали практику создания партий — временных предвыборных проектов в личных интересах политических лидеров, практиковали коррупционные схемы финансирования избирательных кампаний, использовали свойственные прежним лидерам стиль личного принятия всех решений и риторику мобилизации народа для решения национальных задач (как, например, выдвижение доктрин глобализации корейской экономики и культуры). И хотя Ким Ён Сам санкционировал арест в 1993 г. и осуждение бывших лидеров военной диктатуры Чон Ду Хвана и Ро Дэ У, он затем смягчил им наказание, а Ким Дэ Чжун их амнистировал.

(5) В 2000-х гг. наметилась тенденция либерализации консервативной политической культуры и формирования новой политической повестки, включающей экологическую проблематику, выравнивание развития регионов, поиск новой основы для национальной идентичности, культурные права меньшинств и т. п. Так, например, количество экологистских организаций в Южной Корее в начале нового века удвоилось: в 1997 г. их насчитывалось 89, в 2001 г. — 175, а количество упоминающих экологистские движения статей в национальных газетах выросло почти в двадцать раз: в 1990 г. их было 60, в 2000 г. — свыше 1000 (Kern 2010: 878–879). Такой поворот в направленности общественных дебатов и движений связан с приходом на позиции лидеров политических акти-

вистов нового поколения, сила которого проявилась в избирательной кампании президента Но Му Хёна\* (2003–2008) и в ходе выборов в парламент в 2004 г., когда около половины мандатов получили депутаты моложе 50 лет (Lie, Park 2006: 60–61; Kern 2010). Пришедшая к власти Открытая партия, более известная как партия *Ури*, стремилась реализовать антиэлитистские проекты своего лидера Но Му Хёна, инициировавшего отмену введенного после Корейской войны закона о национальной безопасности, расследование связей представителей старого истеблишмента с японской колониальной администрацией, ограничение влияния трех главных консервативных газет, демократизацию частных школ, перевод столицы из Сеула и т. д. Инициативы нового президента довели межпоколенческие различия в отношении к ключевым для южнокорейской политической системы проблемам до степени «культурной войны» и спровоцировали кампанию по вынесению ему импичмента, которая не привела к отстранению президента, но способствовала активизации и консолидации неоконсервативной оппозиции (Cha 2005; Lie, Park 2006).

Сдвиги в политической культуре к ценностям и практикам новых поколений особенно заметны в контрасте между продолжающимся снижением традиционного политического участия и резким подъемом новых форм политического активизма. В президентских выборах приняли участие 73 % (2002) и 63 % (2007), в парламентских — около 60 % (2000 и 2004) (Kim 2005: 199; Хан Ёнью 2010). При этом молодые активисты создают сетевые структуры на базе Интернета, как, например, движение молодых либералов «Носам», названное в честь кандидата на выборах 2002 г. Но Му Хёна (Lie, Park 2006; Lee, Park 2010), или Креативная партия бывшего предпринимателя Мун Кук Хёна, занявшего четвертое место на президентских выборах 2007 г. Во второй половине десятилетия риторику креативности и практику использования новых информационно-коммуникационных технологий переняли все ведущие политические партии, включая неоконсервативную Великую национальную партию, чей кандидат Ли Мён Бак стал победителем на президентских выборах в 2007 г.

### **Пять «культурных революций»**

Общая трансформация культуры южнокорейского общества прошла через фазы и повороты, синхронные с экономическими и политическими сдвигами последних пятидесяти лет.

(1) В 1960-х г. происходило внедрение модернистских культурных паттернов в традиционалистскую культурную среду, дезинтегрирован-

---

\* В некоторых источниках его имя пишут как Ро Му Хён.

ную японским колониальным режимом и Корейской войной. Провозглашенная президентом Пак Чон Хи доктрина «модернизации родины» воплощалась в сфере культуры в форме насаждения сконструированных по западным образцам заменителей традиционных обрядов и церемоний, которые были объявлены тормозящими развитие атрибутами отсталости. Важным инструментом культурной политики авторитарной модернизации стал законодательно введенный в 1969 г. Кодекс семейных ритуалов, который регламентировал такие ключевые в жизни корейцев события, как свадьба, похороны, почитание предков, празднование 60-летнего юбилея (König 2000: 558–559). Другой тенденцией вестернизации южнокорейской культуры в тот период стало массовое обращение в протестантизм, к которому политическая и бизнес-элита относились благосклонно, воспринимая нетрадиционную для страны религию как носитель рациональных и прогрессивных ценностей, паттернов, институтов.

(2) В 1970-х гг. в южнокорейской культуре возникла тенденция, прервавшая поступательное движение авторитарной модернизации. Началось нарастание напряжения между нормативным порядком, поддерживаемым модернистской идеологией государства, и неотрадиционализмом, возникавшим из двух источников: повседневных практик большинства корейцев, соединявших элементы урбанизированного труда и быта с элементами конфуцианских церемоний и шаманистских обрядов, и идеологических конструкторов активистов движения *минджун*. Режим Пак Чон Хи продолжал культивировать дискурс «прогресса и просвещения», и для более эффективного внедрения официальной идеологии в 1972 г. в школах были введены обязательные уроки «гражданской морали». Одновременно усиливалось давление на те культурные паттерны, которые считались архаичными и реакционными. Например, правительством осуществлялась модернизационная по своей направленности и мобилизационная по методам кампания «движение за новую деревню», в ходе которой насаждалось «новое сознание» и подвергались преследованиям приверженцы традиционных религиозных культов. В ответ на проводимую элитой агрессивную политику модернизации оппозиционно настроенные интеллектуалы начали культивировать обращение к традиционным ритуалам, музыке, танцам, театрализованным представлениям, лубочным листовкам и т. п. С помощью традиционных жанров народной культуры развивалась одна сквозная тема — борьба простых корейцев против несправедливости и иностранных вторжений. Это социокультурное движение возникло первоначально в регионе Чолла, систематически ущемлявшемся правящей элитой, большинство которой составляли выходцы из региона Ённам, куда и направлялась львиная доля инвестиций. Чувство социальной ущемленно-

сти как лейтмотив нового движения сделало его популярным по всей стране, и это неотрадиционалистское и явно оппозиционное по отношению к авторитарному режиму движение получило название «народного» (*минджун*) (Shorrok 1986: 1207). Лидеры движения *минджун* в противовес официальному видению Кореи как страны, отягощенной историческим грузом бедности и отсталости, предприняли реконструкцию корейской истории как непрерывной борьбы народа против угнетения, главными вехами которой были восстание 1894 г., антияпонские демонстрации 1919 г., движение против оккупации в 1945–1946 гг., движение против диктатуры в 1979–1980 гг.

(3) Диссидентское движение *минджун* подвергалось давлению со стороны властей, однако именно это движение выработало те образы, символику и риторику, которые стали основой для форматирования современной южнокорейской культурной идентичности. В 1980-х гг. из элементов, созданных противоборствующими силами — модернизационной элитой и неотрадиционалистами, сформировалась относительно гомогенная национальная культура, соединившая экономический национализм с неоконфуцианством и неофамилизмом. В официальном дискурсе развития страны произошел поворот от понимания культуры в терминах противопоставления «старая / новая» к новому видению на базе различения «западная / собственная». В моду вошла концепция национальной культуры как состоящей из западного «железа» (*hardware*) и конфуцианского «программного обеспечения» (*software*) (Koh 1996). На основе этой новой доктрины стала активно проводиться политика сохранения и промотирования культурного наследия (König 2000: 560), которое в перспективе перехода к постиндустриализму стало восприниматься элитой не как помеха технологическому и экономическому развитию, но как его ресурс.

Неоконфуцианство как этическая доктрина, акцентирующая ценность иерархии, ритуала, интеллектуальных занятий, самосовершенствования только во имя принадлежности к общности (Cha 2000), не способствовало в начальный период индустриализации мобилизации членов традиционных общин и быстрому превращению их в эффективных работников для создававшихся фабрик. Но те же неоконфуцианские принципы оказались в полном соответствии с правилами организации взаимодействий в офисах крупных корпораций и государственных учреждений, в аудиториях школ и университетов. Поэтому в характерном для 1980-х гг. общем процессе институционализации различных религий в Южной Корее, когда возникало множество религиозных организаций с разнообразными социальными функциями, создание неоконфуцианских академий получило официальную поддержку государства. Неофамилизм как практика подбора работников и их карьер-

ного продвижения на основе родственных, дружеских и земляческих связей (Lew, Chang 1998; На 2007) отклонял процессы формирования социальных групп и социальной мобильности от норм, характерных для массового общества индустриального периода развития. Однако неофамилизм, способствующий созданию и поддержанию социальных сетей, становится конструктивным с переходом от массовых организаций к сетевым структурам постиндустриального общества.

(4) В 1990-х гг. в Южной Корее тенденция консолидации национальной культуры сменилась тенденцией распространения постмодернистской культуры с характерными для нее консьюмеризмом, космополитизмом и эклектичностью. Доминировавшие в массовом сознании в предшествующие десятилетия ценностные ориентации — экономическое благополучие и общественная безопасность — начали уступать свое место в ценностной иерархии постматериализму, сконцентрированному на правах человека, самовыражении, сохранении окружающей среды (Kern 2010). Снятие ограничений на потребительский импорт привели к нарастающей американизации южнокорейского рынка массовой культуры, а после снятия действовавших полвека идеологически мотивированных ограничений на ввоз японских книг, журналов, кинофильмов, телесериалов и т. п. возникла еще и тенденция японизации. Доминирование иностранных образцов и образов в южнокорейской массовой культуре и готовность большинства потребителей подчиняться диктату моды ряд экспертов интерпретировали в постмодернистском ключе как освоение новых инструментов для сохраняющих свой неоконфуцианский дух практик (Kim 2003). Ярким примером парадоксального смешения ультрасовременности и традиционности в южнокорейской культуре может служить одномоментный массовый отъезд в праздничные дни жителей городов в деревни. Урбанизация произошла стремительно в течение жизни всего двух поколений: доля городского населения достигла 50 % в 1976 г., через десять лет составила 75 % и к середине 1990-х гг. — 85 %. При таких темпах перемещения населения в города южнокорейские горожане в массе своей остались селянами по многим своим привычкам, и их привязанность к сельским корням проявляется в ритуальных поездках на родину к могилам предков (Cha 2000: 476–477).

(5) В первое десятилетие XXI в. произошел новый поворот в трансформации южнокорейской культуры: из культуры-реципиента, поддерживающей баланс между модернизацией и традиционализмом, она превращается в культуру генерирования глобальных сетей и потоков (материальных и символических). Для нового поколения корейцев высокий уровень жизни и сильная национальная идентичность — само собой разумеющаяся данность, а на повестке дня — продвинутость как новая ценностная ориентация. В труде эта ориентация приводит к тому,

что культура индивидуальных достижений и карьеры потеснила культуру лояльности и «пожизненного» найма. В потреблении ориентация на продвинутость проявляется в повальном увлечении престижными глобальными брендами и изменением имиджа с помощью интенсивных косметических процедур, в гаджетомании — заикленности на мобильных устройствах всего стиля жизни от покупок до просмотра теле новостей и общения с близкими, в участии в виртуальных сообществах и в культивировании компьютерных игр как своего рода спорта. Однако самым ярким выражением нового состояния культуры и ценностной ориентации на продвинутость стала так называемая корейская волна (*Ханрюю*) — глобальное распространение фильмов, телесериалов, поп-музыки, анимации, компьютерных игр, образцов молодежной моды, созданных в Южной Корее (Lie, Park 2006).

### **Пять «реинкарнаций» социальной структуры**

Социальная структура Южной Кореи за последние полстолетия так же, как экономика, политика, культура, прошла через пять фаз трансформации.

(1) В 1960-х гг. главной тенденцией был распад традиционного аграрного общества, когда в результате интенсивной индустриализации и урбанизации первичный сектор (сельское хозяйство, рыболовство и т. п.) утратил доминирующее положение в структуре занятости, а расширенная семья была вытеснена нуклеарной. Если в 1960 г. в первичном секторе экономики были заняты 79,5 % работников, а во вторичном (горнорудной и обрабатывающей промышленности) только 5,4 %, то в 1970 г., соответственно, 50,4 % и 14,3 %. В традиционном обществе расширенная семья выполняла функции хозяйственной единицы, она была и группой родственников, и трудовым коллективом. Поэтому еще в конце 1950-х гг. 30,9 % рабочей силы составляли неоплачиваемые работники — младшие члены таких традиционных семей, тогда как доля наемных работников составляла лишь 21,6 %. В 1970 г. доли неоплачиваемых семейных работников и наемных работников были уже, соответственно, 26,2 % и 30 % (Hong 2003: 41). Ключевую роль в трансформации социальной структуры в тот период сыграла миграция огромного числа молодых мужчин и женщин из деревень в города, где они работали на текстильных и обувных фабриках, и в отрыве от родительских семей в урбанистической среде создавали нуклеарные семьи — малые группы.

(2) В 1970-х гг. главной тенденцией становится резкое социальное расслоение в условиях формирования индустриального общества и складывается стратификационная пирамида, в которой в нижнем слое оказываются 70–75 % населения (Хан Ёнью 2010: 548; Hong 2003: 45).

Бедняками, составлявшими в тот период подавляющее большинство в южнокорейском обществе, становились сельские жители, фактически эксплуатируемые при помощи низких цен на сельскохозяйственную продукцию, и низкооплачиваемые рабочие в урбанизированных промышленных зонах, мирившиеся с тяжелыми условиями труда и быта. В 1970-х гг. от 20 до 30 % городского населения составляли мигранты из деревень, самовольно селившиеся в самодельных лачугах на окраинах Сеула и других промышленных центров, где возникали огромные кварталы убогих жилищ без элементарных удобств (На 2004: 142).

Ослабление и даже разрушение за столь короткое время многих социальных связей, характерных для традиционного общества, было компенсировано развитием отношений неофамизма, реструктурировавшего «импортированные» организационные структуры в специфически корейские формы поддержания социальной солидарности и социальной мобильности. Сетевая структура социальной мобильности, осуществлявшейся на основе родственных, земляческих связей, знакомства по школе, университету или службе в армии, стала отличительной чертой догоняющей модернизации по-корейски (На 2007). О роли неофамиллистских отношений в структурировании южнокорейского общества можно судить по следующим данным: 21 % высших управленческих позиций в чеболах занимали родственники владельцев, из 25 крупнейших корпораций 11 принадлежали выходцам из провинции Ённам, 33 % топ-менеджеров в этих 25 компаниях были из того же региона (Shin, Chin 1989).

(3) В 1980-х гг. южнокорейское общество трансформировалось в урбанизированное и интенсивно стратифицированное общество, в структуре которого сформировался относительно многочисленный средний слой. Численность среднего слоя в тот период можно оценить приблизительно в 35–40 % населения. Рост среднего слоя происходил главным образом за счет увеличения в городах числа владельцев малого бизнеса и квалифицированных специалистов из категории «белых воротничков» (менеджеров и профессионалов). Если в 1970 г. квалифицированные «белые воротнички» и владельцы малого бизнеса составляли в сумме 13 % (6 % + 7 %) рабочей силы, то в 1985 г. их было уже 23 % (11 % + 12 %) (Коо 1991: 485, 488). Если к числу профессионалов и менеджеров добавить низкоквалифицированных «белых воротничков» — офисных работников, зарплата, условия труда и быта которых заметно поднялись в тот период над чертой бедности, то эта часть рабочей силы составила в середине 1980-х гг. порядка 16–18 % (Коо 1991; Hong 2003). Ядро возникшего в условиях развитого индустриального общества среднего слоя образовали беловоротничковые работники чеболов (На 2007), где создавалось большинство рабочих мест соответствующего уровня, осуществ-

лялись рекрутинг и карьерное продвижение в духе неофамилизма, культивировался стандартный образ жизни корпоративных работников.

(4) В 1990-х гг. произошел сдвиг стратификационной системы от пирамидообразной к колоколоподобной с доминирующим средним слоем, большинство в котором принадлежало уже не «старому среднему классу», т. е. предпринимателям, а «новому» — профессионалам и менеджерам. С переходом к постиндустриальному типу развития в Южной Корее впервые за полстолетия произошло не возрастание, а уменьшение доли занятых в промышленности с 27,6 % занятых в экономике в 1990 г. до 20,6 % в 2000 г. (Hong 2003: 41). При этом после ослабления контроля авторитарного государства над экономикой произошел резкий подъем зарплат. В 1988 г. оплата труда выросла у «синих воротничков» на 22,6 %, у «белых воротничков» на 11,9 %, в 1989 г. прирост зарплат составил, соответственно, 18,8 % и 15,3 % (Коо 1991: 497). Относительно высокооплачиваемые наемные работники невысокой квалификации достигли уровня жизни, характерного для среднего слоя, так что в совокупности средние слои составили около 50 % населения Южной Кореи, а новый средний слой, образуемый семьями менеджеров и профессионалов — 25 % (Hong 2003; Chung 2005).

Рост на протяжении большей части десятилетия уровня жизни не сопровождался адекватным повышением качества жизни. Расслоение южнокорейского общества по условиям жизни проявлялось в нарастании жилищной проблемы. Несмотря на развернутую еще в правление Чон Ду Хвана программу массового строительства (с 1983 г.), к 2000 г. 23 % домохозяйств оставались в условиях тесноты и без необходимого комфорта и продолжали существовать поселения из тысяч «виниловых хижин» чернорабочих на окраинах индустриальных центров (На 2004: 141–142).

(5) После азиатского финансового кризиса 1997 г. произошел поворот к большей гибкости той структуры занятости, которая сформировалась в период авторитарной модернизации. Если в 1995 г. на условиях полной занятости трудились 58 % работников, то в 2000 г. уже 48 % (Lee W.-D., Lee B.-H. 2003: 511; Kim, Park 2006: 443). Диктуемые Международным валютным фондом неолиберальные реформы рынка труда привели в 2000-х гг. к росту социальной поляризации: вырос верхний сегмент среднего слоя, из среднего слоя «выпали» массы людей, чьи доходы сократились из-за перехода к неполной занятости, снижения зарплат и девальвации национальной валюты, увеличился нижний слой, пополняемый еще и притоком иностранных рабочих. Разрыв в доходах между наиболее обеспеченными 20 % населения и наиболее бедными 20 % вырос с 4 до 5 раз (Kim, Park 2006). При этом параллельно с «размыванием» основного массива среднего слоя и появлением, впервые

с 1970-х гг., огромной категории людей, имеющих постоянную работу, но находящихся ниже черты бедности, происходит рост с 2 % в начале 1990-х до 5 % в 2000-х гг. (Hong 2003: 45) сверхнового среднего слоя, пополняемого топ-менеджерами и высокооплачиваемыми специалистами из постиндустриальных сегментов экономики.

Важным фактором трансформации социальной структуры в 2000-х гг. стал демографический переход: упала рождаемость, началось старение населения, большое число женщин фертильного возраста переориентировалось в своих жизненных стратегиях с брака и деторождения на получение образования и профессиональную карьеру (Lie, Park 2006; Хан Ёнью 2010). Демографические сдвиги в условиях перехода к постиндустриализму стали сказываться на изменении гендерной структуры занятости. В 2000-х гг. произошла дефеминизация промышленных производств, где еще 30–40 лет назад эксплуатация дешевого женского труда была основным источником прибыли, и возникла тенденция феминизации офисного труда, приведшая к тому, что более половины южнокорейских клерков — женщины (Hong 2003: 43–44). Демографический переход и перемещение работников на позиции в постиндустриальных сегментах экономики создают дефицит рабочей силы в сохраняющихся промышленных производствах, который компенсируется притоком мигрантов, интенсивно эксплуатируемых, дискриминируемых, но постепенно встраивающихся в систему статусов принимающего общества.

### **Путь «тигра» от догоняющей модернизации к виртуализации и глэм-капитализму**

Проделанный анализ траекторий изменений в экономике, политике, культуре, социальной структуре позволяет отчетливо видеть, что классические теории модернизации могут служить адекватной моделью трансформации южнокорейского общества только применительно к периоду быстрого экономического подъема, так называемого take-off (Rostow 1960), произошедшего в 1960-х гг. При интерпретации социальных изменений, пришедшихся на 1970-е и 1980-е гг., когда индустриальная рыночная экономика и политическая демократия были соединены с неофамилизмом и неоконфуцианством, скорее адекватной будет концепция множественности паттернов модернизации, позволяющая выделить специфически южнокорейский тип современного общества. Процессы изменений, характерные для рубежа XX–XXI вв., уже не вписываются в рамки разнообразных, но все же национальных паттернов развития. Когда множество транснациональных паттернов открытого, плюралистического, сетевого общества были заимствованы Южной Кореей извне, и в то же время многие такие паттерны были

созданы в Южной Корее и заимствованы другими странами, более адекватную модель изменений позволяет построить концепция глобализации.

Однако некоторые тенденции в выделенных в трансформации экономики, политики, культуры, социальной структуры фазах (4) и практически все тенденции в фазах (5) правильнее объяснять не тем, что национальные структуры и взаимодействия сменяются транснациональными, или локальные — глобальными, а тем, что реальные структуры и действия замещаются виртуальными.

Виртуализация социальных институтов происходит, когда создание образов и поддержание электронных коммуникаций становятся важнее материального производства и взаимодействий в режиме «лицом к лицу» (Иванов 2000). Интенсивные товарные и финансовые потоки формируют постиндустриальные рынки, на которых обращаются не реальные вещи, а образы — имиджи и бренды. Виртуализация товаров, организационных структур и финансовых операций становится рациональной стратегией для участников рыночной конкуренции. В этих условиях виртуальная реальность может служить хорошей метафорой и адекватной моделью для новой экономики брендов, сетевых предприятий, финансовых деривативов и потребительских кредитов. Экономический сдвиг от индустриального «корейского чуда» к постиндустриальной «корейской волне» является весьма наглядной тенденцией виртуализации товара, когда экспортную выручку приносят уже не материальные продукты, а имиджи, создаваемые брендингом, индустрией развлечений и сетевыми коммуникациями.

Однако в 2000-х гг. логика виртуализации уже исчерпывает себя. Когда рынок перенасыщен брендами, они не дают больше конкурентных преимуществ. Они конкурируют уже не с «обычными», не имеющими специфического образа продуктами, а с множеством так же выстроенных брендов. Конкуренция образов теперь настолько интенсивна, что в борьбе за самый дефицитный ресурс — внимание целевых аудиторий — рациональной стратегией оказывается создание образов ярких до приторности и простых до примитивности. И поэтому сверхновой экономической логикой становится гламур (Иванов 2007). С 1930-х гг. гламур был специфическим стилем жизни и эстетической формой, но сейчас он диктует логику поведения производителей и потребителей на сверхконкурентных рынках. Глэм-капитализм возникает, когда производители должны очаровывать (по-английски — *to glamour*) потребителей и когда товары и услуги должны быть агрессивно красивыми, чтобы быть актуальными. Чтобы делать деньги на актуальности, компании переходят от капитализации брендов к капитализации трендов. В стремлении создавать тренды наиболее продвинутые компании создают гламур-

но-промышленные комплексы (ГПК), соединяющие *производителей, дизайнеров из мира моды и потребителей-трендоидов\**. ГПК «размывают» привычные границы между отраслями и рынками и создают *трансиндустрии*, между различными брендами и создают *трансбрендовые* продукты, между фирмой и ее рынком и эксплуатируют не работников, а креативных потребителей.

Логика глэм-капитализма отчетливо проявляется в таких *трансиндустриях*, как индустрия роскоши, индустрия гостеприимства, индустрия развлечений, индустрия красоты и т. п. Каждая из них объединяет предприятия очень разные по продукту и технологии, но при этом одинаковые по методам создания стоимости. Например, производство автомобиля, телефона или кожаной сумки оказываются в одной *трансиндустрии* — индустрии роскоши, если они — гламуроёмкие продукты от Porsche, Vertu, Louis Vuitton. Или производители косметики, пластические хирурги и издатели глянцевого журналов оказываются специалистами одного профиля — работниками еще одной *трансиндустрии* — индустрии красоты.

Каждая из глэм-индустрий росла в 2000-х гг. в среднем вдвое быстрее экономики в целом. Например, в 2000 г. объем мирового рынка роскоши оценивался примерно в 70 млрд. долларов, в 2005 г. — в 130 млрд. долларов, т. е. в среднем индустрия росла на 14 % ежегодно. В кризисном 2009 г. наиболее крупные игроки на рынке роскоши пережили относительно небольшое снижение продаж: LVMH потеряла 0,81 %, Richemont — 4,48 %; а некоторые компании даже демонстрировали рост: Gucci Group прибавила 0,31 %, Hermès — 8,48 %. В 2010 г. рынок роскоши вернулся к экстраординарным темпам роста: LVMH прибавила 19,2 %, Richemont — 25,6 %, Gucci Group — 18,3 %, Hermès — 25,4 %\*\*. Таким образом, можно видеть, что капитализация гламура обеспечивает рост продаж даже в условиях экономического кризиса.

Капитализация гламура также проявляется в создании *трансбрендовых* продуктов, когда производители из столь далеких, казалось бы, отраслей, как ИКТ и мода, создают альянсы, направленные не на построение сильного бренда — устойчивой идентичности, отграниченной от других, а на скорейшее попадание в лидеры рынка, на создание актуальности. Стандарт таких альянсов, генерирующих стоимость как актуальность, задала в конце 1990-х гг. компания Nokia, когда организовала разработку новых моделей мобильных телефонов совместно специали-

---

\* Трендоидами, видимо по аналогии с шизоидами, американский аналитик Джоел Коткин назвал в 2003 г. потребителей, наиболее чувствительных к модным тенденциям.

\*\* Данные взяты из корпоративных отчетов, доступных в Интернете.

стами по ИКТ и дизайнерами из индустрии моды. В 2000-х гг. к тренду, созданному Nokia, подключились ГПК «Motorola — Dolce&Gabbana», «Acer — Ferrari», «Asus — Lamborghini» и т. д. Ставшие альтернативой смартфонам и ноутбукам глэмфоны и глэмбуки могут служить для других индустрий универсальной моделью вывода на рынки гламурного трансбрендового продукта.

Логика глэм-капитализма особенно отчетливо видна в компаниях, чья капитализация полностью основана на создании тренда — быстрого роста сообщества креативных потребителей, жаждущих быть среди лидеров модной тенденции. Наиболее яркий пример капитализации трендов дает компания Apple, сделавшая в 2000-х гг. ставку на агрессивно красивые гаджеты, вызывающие эмоции, похожие на эротическое влечение\* и служащие в качестве «цифрового аксессуара». Предоставление необычных коммуникационных возможностей, используемых и активно развиваемых сообществом креативных потребителей, стало сверхспешной бизнес-моделью. В результате компания, находившаяся на грани банкротства, быстро вышла в глобальные лидеры продаж. Последовательно выпуская iMac, iPod, iPhone, iPad, компания создала не просто линейку продуктов, а линейку трендов. Капитализация трендов привела к тому, что Apple по стоимости акций стала в 2011 г. самой дорогой компанией в мире и в апреле 2012 г. оценивалась в 600 млрд. долларов, далеко обойдя традиционно лидировавших представителей нефтедобывающего и банковского секторов.

Логика глэм-капитализма в южнокорейском обществе начала набирать силу в середине 1990-х гг., когда отмечаемые экспертами «беспрецедентная социальная значимость» внешней красоты, «потребительская эйфория» и ориентация на имидж «крутизны» (coolness) стали всерьез определять направленность развития консьюмеризма, стратегии формирования медийных образов, потребительские стратегии следования моде и карьерные стратегии молодежи (Nelson 2000; Choi 2005; Kim 2003: 104). Согласно проведенному в 2011 г. исследованию консалтинговой фирмы McKinsey, южнокорейский рынок роскоши в 2006–2010 годах рос в среднем на 12 % в год и был вторым в мире (после китайского) по динамике роста, а корейские потребители проявили большую склонность к демонстративному потреблению и приверженность люксовым брендам, чем лидировавшие в прошлые годы японцы. Сами южнокорейцы отмечают, что в их стране склонность к яркости и эффектности в потреблении, к следованию медийным образам и к созданию трендов

---

\* Известно высказывание главы компании Apple Стива Джобса в ответ на вопрос о причине популярности новой операционной системы: «Мы сделали кнопки на экране такими красивыми, что их хочется лизнуть».

проявляется заметно сильнее, чем в Западной Европе и Северной Америке\*.

Поскольку южнокорейские потребители оказываются столь восприимчивыми к дискурсу гламура, включающему мотивы роскоши, эротики, экзотики, яркости, эффектности, креативности, именно этот дискурс наиболее активно используется в рекламе. Прибегая к дискурсу гламура в продвижении продуктов как объектов желания, южнокорейские компании создают парадоксальные образы, чья логика доступна лишь сознанию, захваченному глэм-капитализмом. Например, традиционная водка *соджу* позиционируется в образе аксессуара для продвинутой молодежи, а торговые центры — в образе туристических мест с «магическим шармом».

Логику гламура, определяющую потребительское поведение, усваивают и крупнейшие южнокорейские компании, бывшие 30–40 лет назад основными творцами «экономического чуда». Сделав дизайн и креативность управленческих решений своими приоритетами, легендарные промышленные гиганты теперь активно создают ГПК для продвижения таких трансбрендовых продуктов, как коммуникаторы «Samsung — Armani», «LG — Prada» или автомобиль «Hyundai — Prada». А на самом трендовом высокотехнологичном рынке южнокорейская компания Samsung агрессивно конкурирует с компанией Apple, пытаясь перехватить лидерство в создании гаджетов-трендов.

Приведенных примеров достаточно, чтобы убедиться в действенности логики гламура в южнокорейской экономике начала XXI в. В политике логику гламура репрезентируют политические лидеры и активисты нового поколения, сделавшие креативный организационный дизайн и ИКТ основой политических стратегий. В культуре развитие глэм-капитализма приводит к тому, что для формирования поведенческих образцов и идентичности определяющую роль играют не традиционные культурные институты, а консьюмеризм и индустрии развлечений, моды, гостеприимства, породившие ту культурно-экономическую экспансию, которая получила название «корейской волны». В социальной структуре главными эффектами роста глэм-капитализма становятся «размывание» традиционного среднего слоя и увеличение доли и общественного влияния предпринимателей и профессионалов, чьи доходы, стиль жизни и престижное положение связаны с созданием виртуальных производств и гламуроемких продуктов.

---

\* Данный вывод сделан на основе личных наблюдений и бесед автора с участниками российско-корейского семинара, состоявшегося 24.11.2011 в Университете иностранных языков Хангук в Сеуле.

\* \* \*

Проделанный анализ тенденций социальных изменений в Южной Корее приводит к заключению, что необходимо отчетливо видеть резкие смены траекторий и контрасты между различными фазами трансформации структур южнокорейского общества за последние полстолетия. «Корейское чудо» 1960—1980-х гг. может служить впечатляющим историческим уроком, но этим опытом невозможно воспользоваться в современной России. Лежавшие в основе того «чуда» ресурсы догоняющей модернизации (дешевая рабочая сила из деревень, сдерживание потребления ради инвестиций в промышленное производство, меркантилистская внешнеторговая политика и жесткий государственный контроль над ключевыми предприятиями) были теми же, что использовались и в СССР и были исчерпаны уже к концу 1950-х гг. Обращение же к современному опыту Южной Кореи свидетельствует, что сегодня о новых траекториях развития нужно вести речь не в историческом контексте индустриализации и не в терминах соответствующей этой фазе концепции модернизации, а в контексте глобализации и виртуализации и с применением адекватных этим тенденциям теоретических моделей.

### **Литература**

- Абдурасулова Дж.* Республика Корея: промышленная политика в условиях глобализации // *Мировая экономика и международные отношения.* 2009. № 5.
- Александров Ю.Г.* Может ли Россия стать «евроазиатским тигром». М.: Ин-т востоковедения РАН, 2007.
- Иванов Д.В.* Виртуализация общества. СПб.: Петербургское востоковедение, 2000.
- Иванов Д.В.* Глэм-капитализм и социальные науки // *Журнал социологии и социальной антропологии.* 2007. Т. X. № 2.
- Коргун И.А.* Политика поддержки промышленного экспорта в Республике Корея // *Вестник СПбГУ.* 2007. Сер. 5. Вып. 4.
- Саблин К.С.* Новая индустриализация российской экономики в контексте создания институтов развития // *Журнал экономической теории.* 2010. № 4.
- Хан Ёнбу.* История Кореи: новый взгляд. М.: Восточная литература, 2010.
- Цветкова Н.Н.* Развитие информационно-коммуникационных технологий и афро-азиатские страны // *Восток (Oriens).* 2012. № 1.
- Appadurai A.* Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy // *Global Culture: Nationalism, Globalization and Modernity / Ed. by M. Featherstone.* London: Sage Publications, 1990.
- Castells M.* The Rise of Network Society. Oxford: Blackwell, 1996.
- Cha S.-H.* Korean Civil Religion and Modernity // *Social Compass.* 2000. Vol. 47. No 4.
- Cha V.D.* South Korea in 2004: Peninsular Flux // *Asian Survey.* 2005. Vol. 45. No 1.

- Chang P.Y.* Unintended Consequences of Repression: Alliance Formation in South Korea's Democracy Movement (1970-79) // *Social Forces*. 2008. Vol. 87. No 2.
- Choi H.* The Societal Impact of Student Politics in Contemporary South Korea // *Higher Education*. 1991. Vol. 22. No 2.
- Choi J.* New Generation's Career Aspirations and New Ways of Marginalization in a Postindustrial Economy // *British Journal of Sociology of Education*. 2005. Vol. 26. No 2.
- Chung Ch.* The New Class and Democratic Social Relations in South Korea // *International Sociology*. 2005. Vol. 20. No 2.
- Eisenstadt S.* *Patterns of Modernity*. New York: Basic Books, 1987.
- Eisenstadt S.* *Multiple Modernities* // *Daedalus*. 2000. Vol. 129. No 1.
- Ha S.-K.* Housing Poverty and the Role of Urban Governance in Korea // *Environment and Urbanization*. 2004. Vol. 16. No 1.
- Ha Y.-Ch.* Late Industrialization, the State, and Social Changes. The Emergence of Neofamilism in South Korea // *Comparative Political Studies*. 2007. Vol. 40. No 4. Pp. 363–382.
- Hong D.-S.* Social Change and Stratification // *Social Indicators Research*. 2003. Vol. 62 / 63. Pp. 39–50.
- Kern T.* Translating Global Values into National Contexts. The Rise of Environmentalism in South Korea // *International Sociology*. 2010. Vol. 25. No 6.
- Kim A.E., Park I.* Changing Trends of Work in South Korea: The Rapid Growth of Underemployment and Job Insecurity // *Asian Survey*. 2006. Vol. 46. No 3.
- Kim J.-Y.* "Bowling Together" Isn't a Cure-All: The Relationship between Social Capital and Political Trust in South Korea // *International Political Science Review*. 2005. Vol. 26. No 2.
- Kim J., Koh B. C.* Electoral Behavior and Social Development in South Korea: An Aggregate Data Analysis of Presidential Elections // *The Journal of Politics*. 1972. Vol. 4. No 3.
- Kim S.* Civil Society and Democratization in Korea // *Korea Journal*. 1998. No 2.
- Kim T.* Neo-Confucian Body Techniques: Women's Bodies in Korea's Consumer Society // *Body & Society*. 2003. Vol. 9. No 2. Pp. 97–113.
- Kim T.* The Social Construction of Welfare Control: A Sociological Review on State — Voluntary Sector Links in Korea // *International Sociology*. 2008. Vol. 23. No 6.
- Koh B.-I.* *Confucianism in Contemporary Korea* // Tu W.-M. (ed.) *Confucian Traditions in East Asian Modernity. Moral Education and Economic Culture in Japan and the Four Mini-Dragons*. Cambridge (MA): Harvard University Press, 1996.
- König M.* Religion and the Nation-State in South Korea: A Case of Changing Interpretation of Modernity in a Global Context // *Social Compass*. 2000. Vol. 47. No 1.
- Koo H.* *Korean Workers: The Culture and Politics of Class Formation*. Ithaka (NY): Cornell University Press, 2001.
- Koo H.* Middle Classes, Democratization, and Class Formation: The Case of South Korea // *Theory and Society*. 1991. Vol. 20. No 4.
- Koo H.* *Modernity in South Korea: An Alternative Narrative* // Thesis Eleven. 1999. No 57.
- Lee S.M.* South Korea: From the Land of Morning Calm to ICT Hotbed // *The Academy of Management Executive* (1993–2005). 2003. Vol. 17. No 2.

*Иванов Д.В. По следам «тигра»: анализ траекторий социальных изменений...*

*Lew W.-D., Lee B.-H.* Korean Industrial Relations in the Era of Globalization // Journal of Industrial Relations. 2003. Vol. 45. No 4.

*Lee Y.-O., Park H.-W.* The Reconfiguration of E-Campaign Practices in Korea: A Case Study of the Presidential Primaries of 2007 // International Sociology. 2010. Vol. 25. No 1.

*Levy M.* Modernization and the Structure of Societies. Princeton (NJ): Princeton University Press, 1966.

*Lew S.-Ch., Chang M.-H.* Functions and Roles of Nonprofit / Nongovernmental Sector for Korean Social Development: The Affective Linkage-Group // Korea Journal. 1998. Vol. 38. No 4.

*Lie J., Park M.* South Korea in 2005: Economic Dynamism, Generational Conflicts, and Social Transformations // Asian Survey. 2006. Vol. 46. No 1.

*Nelson L.* Measured Excess: Status, Gender, and Consumer Nationalism in South Korea. N.Y.: Columbia University Press, 2000.

*Robertson R.* Globalization: Social Theory and Global Culture. London: Sage Publications, 1992.

*Rostow W.* The Stages of Economic Growth. New York: Basic Books, 1960.

*Shin E.H., Chin S.K.* Social Affinity Among Top Managerial Executives of Large Corporations in Korea // Sociological Forum. 1989. Vol. 4. No 1.

*Shin J.-H.* The Limits of Civil Society: Observations on the Korean Debate // European Journal of Social Theory. 2000. Vol. 3. No 2.

*Shin J.-S., Chang H.-J.* Economic Reform after Financial Crisis: A Critical Assessment of Institutional Transition and Transition Costs in South Korea // Review of International Political Economy. 2005. Vol. 12. No 3.

*Shorrock T.* The Struggle for Democracy in South Korea in the 1980s and the Rise of Anti-Americanism // Third World Quarterly. 1986. Vol. 8. No 4.

*Smith D.* Technology, Commodity Chains and Global Inequality: South Korea in the 1990s // Review of International Political Economy. 1997. Vol. 4. No 4. Pp. 734–762.

*South Korea's Minjung Movement: The Culture and Politics of Dissidence /* Wells K. (ed.) Honolulu: University of Hawaii Press, 1995.

*Steinberg I., Shin M.* Tensions in South Korean Political Parties in Transition: From Entourage to Ideology // Asian Survey. 2006. Vol. 46. No 4.